

А. П. СУСЛОВА

ГОДЫ БЛИЗО С ДОСТОЕВСКИМ



ДНЕВНИК — ПОВЕСТЬ — ПИСЬМА

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
И ПРИМЕЧАНИЯ
А. С. ДОЛИНИНА

ИЗДАНИЕ М. и С. САБАШНИКОВЫХ
1928

Дневник Аполлиарии Прокофьевны Сусловой я использовал в одной своей работе о Достоевском¹). По нечастым разбросанным записям за небольшой отрезок времени — всего два года — пытался я в той работе восстановить нравственный облик этой исключительной женщины, поскольку судьба ее тесно сплелась с трагической судьбою Достоевского и с цветущей молодостью одного из лучших его истолкователей, потому что был он во многом ему конгенитален — Василия Васильевича Розанова.

Я слышал потом упреки себе за то, что дневник был опубликован не полностью. И эти упреки мне казались заслуженными. У каждого, действительно, могло шевелиться сомнение, не находился ли я, когда рисовал ее портрет, под властью ложной интуиции: заранее предвзятого образа, к которому сами собой подбирались факты и черты ее сложного характера, соответствующие этому образу. А между тем истинное знание о ней — кто же она, какие необыкновенные силы таились в ее душе, чтобы оставить такой неизгладимый след в жизни и творчестве этих двух больших писателей — чрезвычайно ценно. И не только с точки зрения биографической. Вот ставит ее Розанов в реальную связь с героинями Достоевского второго периода: к ней подходит и Дуня, сестра Раскольникова, и Аглая (из „Идиота“). „Только Грушенька (из „Братьев Карамазовых“) — ни-ни-ни. Грушенька, русская, похабная, в ней (Сусловой) ничего грубого, похабного“. Но если Дуня и Аглая, то и Лиза Дроздова из „Бесов“, и, может быть, также Ах-

¹) См. Достоевский, т. II, под ред. А. С. Долгива, изд. „Мысль“ Ленинград 1925 г.

макова из „Подростка“ и уж наверно Катерина Ивановна из „Братьев Карамазовых“, потому что это та же Дуня и Аглая. А дочь Достоевского¹⁾ свидетельствует об этом еще более определенно: с Суловой списана фигура Полины из „Игрока“, всех героинь, которые названы и Розановым, и, сверх того, ее черты находятся еще в образе Настасьи Филипповны (в „Идиоте“).

Так может быть оправдано, уже этим одним, настоящее полное издание Дневника и одной неоконченной повести, в которой тоже находит свое отражение ее сюжет с Достоевским, полный захватывающего драматизма.

Но ценен в высшей степени Дневник и сам по себе, со всеми своими мельчайшими набросками, несмотря на нарочитую сухость его тона, на отсутствие „стиля“ и неяркую эмоциональность. Под покровом реалистической трезвости, столь характеризующей умонастроение эпохи (шестидесятые годы), билась страстная, тревожная, много ищущая и глубоко страдавшая душа женщины, которая рано вышла на дорогу, чтобы стать одной из первых жертв идей своего времени, так пленительно представших перед молодым тогдашним поколением. К тем немногим личностям принадлежала она, в которых сущность движения и воплощается: они соединяют в себе недюжинную силу духа с врожденной чуткостью к голосам эпохи, служат идее, не извне пришедшей, другими созданной, а сами ее вынашивают, делают ее предметом веры и убеждения. И пусть Сулова в жизни своей не приобрела никакой славы, для общества в сущности почти ничего не сделала: не стала по тому времени ни первой женщиной-врачом, химиком или инженером, ни основательницей каких-нибудь фельдшерских или акушерских курсов, не сделалась даже настоящей писательницей. Но она много и глубоко жила: жизнью в высшей степени напряженной, тело и душу свою несла на заклате чарующему идеалу свободной творческой личности. И в этом смысле ее нужно считать одной из типичнейших представительниц своего времени, внутренне (в глубинах психологических) меньше

всего трезвого и холодного, несмотря на то, что „философия эпохи“ обязательно строилась тогда в полном согласии „с только что узанной истиной, что человек происходит от обезьяны“.

Три раза нарисован портрет Суловой: словами и в своеобразии стиля тех людей, которые не хотели да и не могли к ней относиться с достаточным спокойствием, чтобы оставить потомству объективно очерченный образ. И потому, что эти люди, при всем своем пристрастии, говорят об одних и тех же чертах характера, строят его на одинаковой основе,—ее портрет приобретает особенную убедительность.

„С Суслихой я первый раз встретился в доме моей ученицы А. М. Щегловой (мне 17 лет, Щегловой 20—23, Суловой 37): вся в черном, без воротников и рукавчиков (траур по брату), со „следами былой“ (замечательной) красноты... Взглядом опытной кокетки она поняла, что „ушибла“ меня—говорила холодно, спокойно. И, словом, вся — „Екатерина Медичи“. На Катюку Медичи она в самом деле была похожа. Равнодушно бы она совершила преступление, убила бы слишком равнодушно; „стреляла бы в гугенотов из окна“ в Варфоломеевскую ночь — прямо с азартом. Говоря вообще, Суслиха действительно была великолепна, я знаю, что люди были совершенно ею покорены, пленены. Еще такой русской я не видал. Она была по стилю души совершенно русская, а если русская, то раскольница бы „поморского согласия“, или еще лучше — „хлыстовская богородица“¹⁾.

Этот портрет пристрастнейшей рукой набросал Василий Васильевич Розанов, повидимому, всю жизнь испытывавший к Суловой глубочайшую ненависть в соединении с неискоренимым восхищением: ею, совершенно русским стилем ее души. И видим мы здесь, в этом портрете, необычайную собранность характера — человека с исключительной, фанатической волей, властно сдвигивающей некие колебания, если вера его, убеждение, требуют непосредственных действий. Да, таким существом люди должны быть „совершенно покорены, пленены“ „Раскольница поморского согласия“, „хлыстовская богоро-

¹⁾ „Достоевский в изображении его дочери“, под ред. А. Г. Горюфельда в. Госиздат 1922 г., стр. 38. При всей ненадежности этого источника, в данном случае можно им пользоваться так как утверждение А. Ф. Достоевской о прототипности не соответствует тенденции автора, а явно противоречит ей.

¹⁾ См. „Путь Достоевского“ А. П. Гроссманна, изд. Брокгауза 1924 г., где приводится (стр. 152) письмо Розанова к Волжскому.

дида" — она не умеет ни прощать человеческие слабости, ни понимать их: пожалеть человека за его слабости.

А в одном из писем¹⁾, от 19 апреля 1865 г., к ее сестре, с которой он был очень дружен, Достоевский говорит то же самое: обыденным стилем повседневности: „Она требует от людей в всего, всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства в уважение других хороших черт, сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям. Она корит меня до сих пор тем, что я недостойн был любви ее, упрекает меня беспрерывно, сама же встречает меня в 63 году в Париже фразой: „Ты немного опоздал приехать“²⁾, т.е., что она полюбила другого... Я люблю ее еще до сих пор, очень люблю, но я уже не хотел бы любить ее... мне жаль ее, потому что, предвижу, она вечно будет несчастна. Она нигде не найдет себе друга и счастья... Она не допускает равенства в отношениях наших... считает грубостью, что я осмелился говорить ей; например, осмелился высказать, как мне больно. Она меня третировала свысока. Она обиделась тем, что и я захотел, наконец, заговорить, пожаловаться, противоречить ей“.

Это было писано, когда уже приближался окончательный разрыв между ними, в котором активную роль играла она, а не Достоевский. Но пройдут еще два года, разрыв станет совершившимся фактом, он успокоится, судьба пошлет ему в последние спутницы молодую, покорную жену, перед ним благоговейшую, — тогда снова будет нарисован портрет Суловой, в последний раз; будут повторены те же черты ее характера, в тех же почти словах, но уже в совершенно ином освещении. То, что должно было служить ей здесь³⁾ в укоризну, возводится в перл создания; на самую высшую ступень возносится ее этический максимализм, ее неумение „прощать людям ни единого несовершенства“.

„... Я не знаю твоей жизни за последний год и что было в твоём сердце, но судя по всему, что о тебе знаю, тебе трудно быть счастливой.“

¹⁾ Письмо не опубликовано.

²⁾ См. ниже, стр. 47, вторую запись в Дневнике от 13 августа.

³⁾ В неопубликованном письме Д. к сестре ее.

О, милая, я не к дешёвому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твоё не может не требовать жизни, а сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками...

До свиданья, друг вечный“.

Это из последнего письма к ней Достоевского из Дрездена от 5 мая 1867 года¹⁾. Не о себе ли это говорит он, когда противопоставляет ее непримиримой требовательности „дешёвое необходимое счастье“? Жителски был он с Анной Григорьевной, своей последней женой, весьма счастлив. Поскольку вообще в жизни мыслимо было для него успокоение, оно было достигнуто. „Поэзия“ же всегда таит в себе непредвиденные великие опасности, и тот, кому нужно „необходимое счастье“, справедливо ее опасается.

От эпохи Сулова взяла свой идеал человека, свои высокие нравственные требования к нему. И в соответствии же с умонастроением эпохи, пусть философски несравненно более низкой, чем предшествующие 40-ые или 30-ые годы, она обладала тем беспокойным активным мироощущением, которое настойчиво требовало действительного участия в создании новых форм жизни. Прибавим еще, что никакие традиции прошлого над ней не тяготели. Крестьянка по крови, она пришла в мир с той неумолимой прямолинейностью, с тем высоким нравственным закалом, которые и являются типичными чертами наиболее ярких представителей 60-ых годов. Она была по стилю души „совершенно русская“ — русская, простонародная; действительно „раскольница поморского согласия“: по стойкости, одержимости одной идеей и властности

Расскажем сейчас, как можно короче, то, что знаем о Суловой из ее биографии. Это будет к ее Дневнику, столь необычно „бесстильному“, как бы предварительным комментарием, без которого читателю было бы почти невозможно проникнуть в глубь ее внутреннего мира, порою так тщательно спрятанного под внешним покровом скупых, намеренно-холодных, слишком обрывистых, записей.

¹⁾ Письмо было впервые опубликовано Н. А. Бродским в „Недрах“ № 2.

Ее отец — крестьянин, крепостной графа Шереметьева, родом из села Панина, Горбатовского уезда, Нижегородской губернии. Был он человек незаурядный, крепкого нравственного закала и больших умственных способностей¹⁾. Надо полагать, что откупился он на волю еще до освобождения крестьян, оставаясь на службе у своего же бывшего помещика и занимая у него весьма ответственные должности. В начале 60-ых годов он управляет всеми его делами и огромными имениями, постоянно живет в Петербурге, и дети его учатся в высших учебных заведениях. А во второй половине 60-х годов имеет уже собственную фабрику в Иваново-Вознесенске.

Где и в какой обстановке протекло детство нашей героини, об этом почти ничего неизвестно²⁾. Не знаем также, где получила она первоначальное образование. Биограф ее сестры, Надежды Прокофьевны (в свое время пользовалась большой популярностью, как первая в России женщина-врач), рассказывает, что годы отрочества она провела в одном частном московском пансионе, по общеобразовательным предметам, кроме новых языков, плохо поставленном³⁾. Быть может, там же училась и Аполлинурия Прокофьевна? Сестры были очень дружны, и разница между ними всего в два-три года (Аполлинурия Прокофьевна старше; родилась в 1840 г.). В одном из ее рассказов, где героиня уже с ранних лет казалась девочкой чужой в семье подруг, гордой, одинокой и никем не понятой, — рисуется быт женского закрытого пансиона с такой подробностью, с такими тончайшими деталями, какие могут быть известны только тому, кто сам находился в такой обстановке. А пишет Сулова свои женские образы обыкновенно с себя, эпизоды из личной биографии объективирует в художественные сюжеты.

¹⁾ В моих руках были письма его к целому ряду лиц; они написаны прекрасным литературным языком, совершенно свободным от диалектизма, виден в них человек серьезно начитанный и привычный к отвлеченному мышлению.

²⁾ В одной из записей Дневника (см. выше стр. 87—88) сказано мимоходом, что до 15 лет жила в деревне.

³⁾ См. „Живский Вестник“ 1867 г., № 8; еще: „Русские врачи-писатели“ А. Ф. Змеева, Пет. 1868 г.

Недостаточны наши сведения и о ранней ее молодости. Знаем смутно, что она вращалась в среде студенческой молодежи; ходила вместе с сестрой в университет слушать публичные лекции популярных тогда профессоров: Костомарова, Спасовича, Стасюлевича и др. И надо думать, что они обе должны были играть в студенческой среде роль очень заметную: энергичные, с пылким темпераментом, быстро и страстно увлекающиеся натуры, красочно одаренные, да к тому еще особенно восприимчивые, по демократическому своему происхождению, к „светлым освободительным идеям“ эпохи. Не здесь ли та первая нить, которая ведет нас к повести ее жизни, связанной с Достоевским? Студенчество принимало ведь самое горячее участие — для него они и устраивались — в тех публичных чтениях с выступлениями знаменитых писателей, где Д-ский должен был пользоваться, наравне с Шевченко, особнным вниманием. Страдалец только что вернулся из Сибири с ореолом борца, так жестоко поплатившегося за свои социалистические убеждения. Знал Достоевский, что молодежь встречала его восторженно, как бывшего каторжника; временами, быть может, было ему неловко выступать в такой роли, и все же выступал. Ибо еще не пришло „перерождение убеждений“; открыто, во всяком случае, еще не обнаружилось. Пусть оно даже и подготавливалось, уже нарастало, — выставлять это на вид Достоевский тогда не торопился.

И вот следующая нить, уже вполне надежная, ведущая сюда, к этому центральному моменту в жизни нашей героини: то, что она очень рано сознает себя писательницей, и первый свой рассказ, „Покуда“, печатает во „Времени“, в журнале Достоевского. На вопрос, когда и при каких обстоятельствах они познакомились, у нас есть в ответ пока единственная прочная дата: цензурная пометка (21 сентября 1861) на пятой книге „Времени“, где был помещен этот рассказ. Считаем приблизительно месяц на печатание книги; остается, повидимому, последней гранью август 1861 года. Но, само собой разумеется, рассказ мог быть представлен в редакцию задолго до печатания книги, и очень может быть, Достоевский потому и дал ему место в своем журнале, что лично уже знал ее. Рассказ достаточно слаб художественно, и невольно напрашивается мысль: именно

потому, что уже знал ее и относился к ней с особенным интересом, его оценка оказалась далеко не объективной. Была ведь она в юные годы вовсе не „холодной и не спокойной“; пленяла мысль, как бы скорее, на деле показать себя свободной от „предрассудков“, от общепринятых норм, и первая, как уверяет дочь Достоевского, написала ему свое „наивное поэтическое письмо“¹⁾. Может быть, на каком-нибудь публичном чтении заметила, что произвела на него большое впечатление; „ушибла“ его; тогда пришлось бы еще дальше назад отодвигать их первое знакомство.

Но как бы то ни было, несомненно — близость между ними установилась еще в Петербурге, во всяком случае, до второй поездки Достоевского в Европу в 1863 г. И можно заранее сказать: когда близость эта приняла характер глубоко интимный, то вряд ли она была для нее до конца радостной. Ибо можно ли представить себе Достоевского иначе, как только таким, который умел в одно и то же время любить и мучить: мучить любя и в самой любви. Говорим это не на основании одних его произведений: так свидетельствует Страхов²⁾, знает и Аполлон Майков³⁾. И в юной восторженной ее душе должны были отлагаться тяжелыми пластами какие-то темные переживания. Переживания росли, наслаивались; узел затягивался все туже, неминуемо должен был наступить тот момент, когда человеку становится уже невыносимо, и с закрытыми глазами бросается он в пропасть, чтобы хоть на мгновение избавиться от страшного кошмара мучительной действительности.

Ниже приводится одно письмо Сусловой к Достоевскому, оно бросает яркий свет на характер их отношений, подтверждая только-что высказанные предположения. „Ты просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать, могу уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать... Я могла тебе писать, что краснею за наши прежние отношения, но в этом не должно

¹⁾ См. „Достоевский в изображении дочери“, стр. 34.

²⁾ См. письмо Страхова к А. Н. Толстому от 28/XI 1893 г. („Толстовский Музей“ сборник I, стр. 307—309).

³⁾ См. „Достоевский“, т. II, под ред. А. С. Долянина II, стр. 175 (в приложении).

быть для тебя нового, ибо этого я никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу“.

Так проводится резко грань между „любовью“ и проявлением этой любви; не любовь, — за нее она не краснела, отношения были для нее тяжки, глубоко оскорбительны. Не знаем точно, когда эти строки писались: отклик ли это непосредственный только-что пережитому. Но без сомнения писала тогда, когда близость еще была; петербургский период встает не как далекое воспоминание о былом, а свежо и остро. Не „краснею за свою любовь“, — очевидно, она еще длится: не за прежнюю. Вряд ли писала бы так после путешествия по Италии, в 1864 г., тем более — в 1865 г. Но самое главное, — что говорит она это самому Достоевскому, чувствуя, очевидно, право свое так говорить с ним.

А дальше письмо еще теснее подводит к исходному моменту нашей драмы; характер их отношений, в ранний петербургский период, воспринимается уже почти ощутимо, так что невольно возникает вопрос: не здесь ли скрыта основная причина, которая сделала для нее совершенно невыносимой их связь и неминуемо должна была привести к разрыву? Суслова пишет: „Они, отношения, для тебя были приличны. Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, который не забывает и наслаждаться на том основании, что какой-то великий доктор или философ уверял даже, что нужно пьяным напиться раз в месяц. Ты не должен сердиться, что я выражаюсь легко, я ведь не очень придерживаюсь форм и обрядов“. — Вот что она разумет под словами: „отношения“ в отличие от „любви“. За любовь она бы „не краснела“; в том и трагедия, что любовь оказалась в действительности далеко не такой чистой и возвышенной, какой впервые предстала она юным девическим мечтам ее. Были жгучие наслаждения; было, по всей вероятности, отнюдь не радостное, распаленное сладострастие и в то же время какая-то строгая, жестокая „методичность“ „человека серьезного и занятого“. Тогда бы каждый приход его приносил с собою, вместе с захватывающими переживаниями сладостно-грешными, и глубокое незабываемое оскорбление. И раскалывался надвое образ „сияющего“: „князь“ и „самозванец“; — не эрос, а патос. И тем более

мучительно переживалось превращение, что ведь это был он, творец „Униженных и оскорбленных“, сам только что обливавшийся слезами умиления над идеалом чистой самоотверженной любви главного героя романа.

В письме к Волжскому, плененный неиссякаемым, несмотря на долгие годы, чувством обиды, быть может, и — мести за ее уход, за те слезы, которые он проливал, „не зная, что с собой делать, куда деваться в тоске по ней“ — В. В. Розанов воспроизводит между прочим такой диалог:

„Почему же вы разошлись, А [полливария] П [рокофьевна] — (разумеется с Достоевским)?

— Потому что он не хотел развестись с женой, чахоточной, „так как она умирает“.

— Так ведь она умерла?

— Да. Умирала. Через полгода умерла. Но я уже его разлюбила.

— Почему разлюбили?

— Потому что он не хотел развестись.

Молчу.

— Я же ему отдалась любя, не спрашивая, не рассчитывая. И он должен был так же поступить. Он не поступил, и я его кинула...“

Розанов утверждает: „Это ее стиль, разговор у меня с ней этот был, и почти буквален. Тезисы во всяком случае эти самые“.

Весь Дневник, который здесь печатается, полностью отрицает эти „тезисы“, как и отрицает их только что приведенное ее письмо к Достоевскому, письма Достоевского к ней и к ее сестре. Да, это верно: она действительно ему отдалась любя, „не спрашивая, не рассчитывая“. А фактически с женой он уже тогда развелся: она ведь жила не в Петербурге, а во Владимире и в Москве. Причина разрыва именно та, которая здесь указана: она — в самом характере его любви, в этот первоначальный петербургский период, казалось бы, еще никем и ничем не омраченной.

И вот возникает такая тревожная мысль. Много раз и сурово свидетельствует Суслова против Достоевского в своем Дневнике; вспыхивает, порою кажется, беспричинной ненавистью к нему,

и линии обычно ведут — как бы само собой это вырывается у нее — к этой первой поре их отношений. Сумеет ли мы когда-нибудь воспроизвести, в ее конкретности, всю волнуемую нас правду? По мере того, как жизнь Сусловой складывается все более и более неудачно, возрастает, быть может, ее суб'активизм? Но в плоскости иной, отнюдь не в плоскости только житейской — она меньше всего должна интересоваться — ставится нами вопрос: действительно, справился ли Достоевский с этим тяжким испытанием, ему ниспосланным судьбою? Как подошел он к этой юной, неопытной душе, так преданно перед ним раскрывшейся? Он, уже проживший большую половину своей жизни, глубочайший и тончайший испытатель человеческих страстей, — к ней, наивной, только начинающей свой жизненный путь, страстно ищущей в окружающей действительности и в людях воплощения некоего высшего идеала? Был этот идеал прекрасен в своих неясных очертаниях, и сядя он пленительно сквозя зыбкую поверхность позитивистических идей, к которым она прислушивалась, быть может, завлекая и считала себя сторонницей этих идей, но вряд ли воспринимала их до конца в своей душе. В ее Дневнике нередко звучат недоверчивые ноты к идеям эпохи и к людям, которые служили им. Спрашиваем: как поступил Достоевский с этим юным существом? Выросла ли, поднял ли до высоты совершенства? Или сам не удержался на высоте? И заглянул слепые, жестокие страсти и в ее душе; открывалась бездна, в которую, быть может, сила темная, исходившая от него, первая ее и толкнула. И если это так, и был он причастен ко греху, к вовлечению в темную сферу греховности, то как он относился к самому себе в минуты просветления, когда затихали кипевшие в нем страсти? — К себе, пусть даже и косвенно соблазнившему „одну из малых сих“?

Чувствуем и сознаем всю тревожность и ответственность этого вопроса, когда ищем зависимости или хотя бы соответствия, и в сфере эмоциональной, между личным опытом писателя и его претворением в художественном творчестве. Нам кажется, что именно здесь и находится один из узлов каких-то очень глубоких трагических переживаний Достоевского, нахлынувших на него, вместе с ощущением этого непоправимого

греха, совершенного им по отношению к Сусловой. Так открылась бы нам первопричина столь огромной эмоциональной насыщенности, в плоскости подобных переживаний, „Записок из подполья“, позднее „Идиота“ (Настасья Филипповна), быть может, даже „Исповеди Ставрогина“ (в „Бесах“).

В этом предварительном сжатом очерке о жизни Сусловой мы вынуждены оставить нашу гипотезу неразвернувшейся. Пусть мелькает она время от времени перед читателем. Когда-нибудь, быть может, удастся сделать ее более убедительной. Мы у преддверия Дневника: первая запись в нем, как раз в связи с Достоевским, датирована: „19 августа. Париж“. Год не указан, но не подлежит сомнению, что это 1863 год: Суслова ждет его со дня на день, они вместе поедут в Италию, а это случилось по вторую поездку Достоевского за границу вскоре после закрытия „Времени“ (в мае 1863 года). В предыдущем году он путешествовал по Европе сначала один, а конец июля и август — вместе со Страховым¹⁾. Суслова очутилась вдруг в Париже. Уехала одна, без Достоевского, весной или в начале лета, потому что не хотела его дожидаться, — один этот факт не говорит ли уже за то, что в их отношениях произошла какая-то крутая перемена, точно она действительно „покинула его“, торопится порвать с ним, спасаясь почти бегством. И вот, в течение этих нескольких месяцев, трех или четырех, которые она провела в Париже, вспыхнуло в ее душе новое чувство, молодое и яркое, захватило ее с такой внезапностью, разожглось пламенем такой слепой страсти, что без всяких размышлений о будущем, со слабой уверенностью в настоящем, ни о чем не рассуждая и не взвешивая последствий, — она отдала свое сердце и всю себя человеку чуждой среды и племени²⁾. Только бегством от самой себя, состоянием как бы одержимости единой мыслью: скорее и как можно дальше, бесповоротно оттолкнуться от недавнего пережитого, — нужно объяснить эту столь быстро загоревшуюся страсть. Или: душа ее, после петербургского периода, не была уже столь юной

¹⁾ См. материалы к биографии Достоевского, изд. 1883 г. стр. 240—243.

²⁾ Из Дневника видно, что он родом испанец, — не то студент-медики, не то молодой врач, по имени Сальвадор.

и чистой? От любви мрачной, размеренно-методичной, бро-силась она к любви: человека, пусть элементарно несложного, ничем не одаренного, но, быть может, именно этой простотой своей и пленительного, — своим крепким душевным здоровьем.

В „Игроке“, где личный сюжет с Сусловой ближе всего претворен, говорится, в связи с „французиком“ де-Грие, о той „завершенной“ внешней форме европейца, которая так нравится именно русской женщине. По нескольким чертам, разбросанным в Дневнике в разных местах, встает перед нами образ молодого „красивого зверя“, с едва проступающим на верхней губе пушком; у него гордое, мужественное, самоуверенно держкое лицо и безукоризненные аристократические манеры. И прежде всего эта необыкновенная самоуверенность, которую русские ошибочно принимают за крайне развитое чувство собственного достоинства, никогда не допускающее человека унижаться до лжи или обмана. Так стремительно и сложно запутывается сейчас второй, главный узел в жизни Сусловой. Подобно власти де-Грие из „Игрока“ — тоже над Аполлинарией („Полина Александровна“), — власть и этого европейца с „завершенной формой“ над Сусловой оказалась беспредельной. Гордая, независимая, ценившая превыше всего свое свободное „я“, — она позволяла себе стоять перед ним в согбенной позе унижающего, когда тот стал постепенно к ней охладевать, — ей не хотелось этому верить — и убеждала себя, что все еще добиваема. Слишком короткой оказалась эта новая яркая полета жизни, оставившая на долгие годы такой глубокий след в ее душе: в течение всего нескольких месяцев — лета и ранней осени — была пройдена она до конца. Буквально за миг счастия поплатилась муками разочарования, горькой неотомщенной обиды, стыда и раскаяния.

Достоевского Суслова воспринимала очень сложно. Двойственным являлся он ей: в сиянии высшего идеала и в то же время — мутной, тяжелой, чувственной стороной своей. И тем мучительнее была обида для нее, как женщины, что наносил эту обиду он, „сияющий“. Меркнул свет перед черными тенями, исходившими от него же, и это было невыносимо. А здесь: простым и ясным, элементарно сильным было ее чувство, оттого и казалось оно вначале таким полным и радостным.



Но, очевидно, только в самом начале. Не была бы Суслова натурой столь исключительно сложной и многосторонне противоречивой, если б переживала только радость. Через год, оглядываясь назад на недавно пережитое, она кратко рассказывает в Дневнике о своем душевном состоянии в те „ночи, когда ндруг просыпалась, в ужасе припоминала происшедшее днем, бегала по комнате и плакала“. Был ужас в том, что снова увидела лик зверя: повторение, —повидимому, в еще более грубой форме— того, что уже раз оттолкнуло ее от себя.

И вот ожидало ее еще глубочайшее оскорбление, когда чувственность, ничем не осложненная, оказалась вскоре удовлетворенной. С этого момента Дневник и открывается, когда впервые стала улавливать признаки охлаждения со всею, обычной для среднего пошловатого европейца, мелкой ложью, прикрываемой искусственными ласками, если любящая начинает тревожиться, что-то смутно подозревая. И в это время все ближе и ближе надвигалась встреча с Достоевским. Ясно представляла, как будет он мучиться, когда узнает все то, что было ею пережито в его отсутствие. Сама страдала, жалея Достоевского, боялась встречи с ним, принимала меры, чтобы не произошло этой встречи. И в то же время — все же ждала его, в этом чужом огромном и блудном Вавилоне; ждала, быть может, как единственного близкого человека, который может и должен помочь в этом ее положении, все более и более запутывающемся.

Теперь, в новом, уже явно на нее надвигавшемся несчастье, когда наводнение, исходящее от Достоевского, как бы рассеялось, — из недавнего прошлого в памяти восстает облик только „великого и великодушного“: он один отнесется к ней — можно бы сказать — с величайшим бескорытием князя Мышкина. Так определяется содержание и основной тон первых страниц Дневника. Мотив Достоевского, в первых записях еще слабый, начинает вскоре звучать все сильнее и сильнее, пока совершенно не вытеснит — только на время — мотивы парижской полосы ее жизни.

Борются между собой, переплетаясь, обе темы: прошлое и настоящее; Достоевский ненадолго снова появляется на первом месте, следы оставляет и на этот раз не менее глубокие,

чем в период петербургский, не меняя его также и качественно. Заносится под одной и той же датой сцена последнего свидания с „законченным европейцем“ и первое сообщение о Достоевском. Она пишет ему письмо, которое здесь же приводится: о том, что он „едет немножко поздно... Все изменилось в несколько дней“. Он когда-то говорил ей, что она „не скоро может отдать свое сердце“ — она его отдала по „первому призыву, без борьбы, без уверений, почти без надежды, что ее любят“... Достоевский надолго запомнит эти слова: „едешь немножко поздно“. Как мы знаем из начала очерка, на них он и сошлется, как на слова грубые и оскорбительные, в своем оправдании перед сестрой ее, Надеждой Сусловой, когда та бросает ему тяжкое обвинение в том, что он любит наслаждаться человеческими мучениями. Но о б е к т и в н о — в этом письме ясно воспринимается черта какой-то роковой внезапности, какого-то крутого перелома, происшедшего в ее душе. Точно сама недоумевает, как это случилось, что так покорно, без борьбы, без надежды отдалась охватившему ее порыву. И не может себя порицать за это, чувствуя за собой какую-то правоту. У Достоевского были колебания: „не скоро отдала ему свое сердце“, тем и „ушибла“; его именно пленило это целомудрие девической чистоты, милой скромности. Теперь она с грустью оглядывается на минувшее, и перед неведомым и страшным, которое таит в себе наступающее „завтра“, из всего пережитого с Достоевским память отчеркивает лишь мгновения чистые и светлые.

„В эту минуту — читаем дальше в ее Дневнике — мне очень и очень грустно. Какой он великодушный, благородный. Какой ум, какое сердце“.

Эти слова относятся к Достоевскому, точно мысленно прощается с ним навсегда. А пока, за эти несколько дней до его приезда, драма парижская быстро нарастает, и скупо — больше всего боится Суслова в своем Дневнике сантиментальностей — заносится ее перипетии. Колеблется между надеждой и отчаянием, жадной верить в любовь возлюбленного и очевидностью фактов, эту веру разрушающих, — этих фактов становится с каждым днем все больше и больше. Вспыхивает на мгновение и чувство гордости, проносятся перед нею планы широкие, давно лелеемые: произойдет разрыв, она станет еще свободнее. Она

хочет «видеть Европу и Америку, съездить в Лондон (очевидно к Герцену) посоветоваться... поступить в секту бегунов... Нужно жить полнее и шире»...

И снова возврат к основной теме любви, и снова страницы Дневника заполняются записями о двух главных лицах драмы.

Достоевский приехал к ней до получения того письма, и ей пришлось, при первой встрече, лично сказать обо всем случившемся. Это первое свидание она подробно описывает, рассказывая не столько о себе, о своих переживаниях, сколько о нем, что он говорил и что делал, когда узнал об этой роковой любви ее. Себя, свою роль тщательно затушевывает, тем ярче выступает роль Достоевского. И то, что она здесь крайне обеднила свое психологическое содержание, не утрирует своих переживаний, не становится ни в какие позы, — делает эту сцену особенно убедительной. Позднее, повидимому, она пыталась ее использовать для рассказа, здесь впервые печатающегося: «Чужая и свой».

Попытку первой художественной стилизации находим уже здесь, на страницах Дневника, в виде поправок на полях карандашом и разными чернилами. Читатель сравнит первую передачу встречи с Достоевским с более подробным ее изложением в рассказе; увидит он, как художественное претворение отходит от первоначальной редакции, главным образом, в плоскости ремарок, усиливающих жесткую жесткость героя и драматизм сцены целым рядом подчеркнутых эффектов сентиментально-романтического характера. Сусллова бессильна изменить что-нибудь в основе; остов остается, без особого труда изымается он из художественной оболочки определенного штампа ее писательского стили.

В этом смысле, поскольку Сусллова строит свои рассказы по лично пережитому, и художественные средства ее простираются преимущественно на усиление эмоционального тона, почти не затрагивая мотивов сюжетного характера; — ее художественная интерпретация: «Чужая и свой» для нас особенно ценна. В ней она была менее связана, в о в р е м е н и, фактической правдой, — тем что происходило только в этот момент первой парижской встречи; и сумела ввести несколько новых мо-

тивов, тоже отнюдь не сочиненных художественно, а реально пережитых. Мотивы из прошлого, более далекого, и — недавнего прошлого, ближе к окончательному разрыву с Достоевским, когда оценка первого петербургского периода уже приняла свои последние суровые очертания. Здесь прежде всего важен образ героини, ее собственный образ, воспроизведенный достаточно полно и правильно. Запоминается особенно автохарактеристика: «Ее собственные мнения были несколько резки, она не отличалась умеренностью ни в похвале, ни в осуждении». И черта эта ставится в связь с ее глубокой верой в человека дающей ей право предъявлять к нему свои очень большие требования. Повторяем сказанное в начале очерка: так воспринимал ее и Достоевский, и в этом он видел глубочайшую и драгоценнейшую основу ее характера; быть может, не сейчас и не через два года, когда переживания его, в связи с нею, были особенно остры и болезненны. — а потом, когда они уже разошлись, душой, в сущности, никогда не разошедшись: уже после женитьбы на Анне Григорьевне. Было у Анны Григорьевны не мало оснований, чтобы ревновать его к Сусловой и не только к их прошлому; в ее дневнике есть об этом жгучие строки.

Сюда же относим и то, как героиня рассказа «Чужая и свой», словами: «хорошо ты этим воспользовался», мысленно прерывает длиннейшую реплику героя о том, что слишком много она значила для него, что под влиянием так близко подошедшего к нему молодого прекрасного существа в нем воскресла вера и «остаток прежних сил». Подобную реплику Суслова, по всей вероятности, ни один раз слышала от Достоевского в первый петербургский период и тоже, быть может, выражала мысленно, про себя, свою тяжелую затаенную обиду словами: «хорошо ты этим воспользовался». Недаром так упорно постоянен этот мотив в Дневнике, неизменно появляется каждый раз, когда она обращается к начальной поре своей самостоятельной жизни и к роли в этой жизни Достоевского.

Прошлое держит в своих тисках настоящее и будущее обоих. Но сейчас, при первом свидании, Достоевский почувствовал к ней острую жалость. Чтобы рассеять ее тоску, предложил поехать вместе в Италию, и он будет ей «как брат». Как в

истории с первой женой, снова берет на себя роль третьего: утешителя и друга, так преданно отзывающегося любимому человеку в самые тяжелые минуты его жизни. Герой „Подполья“, чтобы тем сильнее казнить себя, выставляет напоказ всю свою мерзость; тяжелее всего воспринимается его поступок с вадшей, к которой он тоже вначале приходит как спаситель. На этот раз на долго ли оставалась бескорыстной роль утешителя и друга? Был ли он „как брат“? Быть может, только в первые дни, в минуту первого порыва жалости и сострадания. С того самого момента, как Суслова, хотя бы и на малое время, взята им из омыта парижской жизни, отдалена от непосредственных чар второй ее любви, еще более чувственной и грешной, — испытание, ниспосланное ему судьбою, делается еще ответственнее. На тончайшем острие колебалась в эту минуту душа Сусловой, дважды испытавшей жгучие укусы страстей. Стало одинаково возможным: либо падение, как она потом сама выражалась, в тину засасывающей пошлости, и дальше — омерзение к себе и отчаяние, которое действительно вскоре пришло и чуть не окончилось самоубийством; либо осияет и спасет ее близкий, человек в ореоле, истинно до конца великодушный. Требовалась со стороны Достоевского высшая жертва. Как женщина, Суслова стала теперь вдвойне соблазнительна. И тоже на тончайшем острие, в соответствии с нею, должна была колебаться и его душа. Был также одинаково близок подвиг или еще большее падение. Эти колебания вряд ли ясно им сознавались уже тогда или в ближайшие дни. Процесс совершался где-то в глубине, сознательно переживался вновь позднее, в отражении; охваченный страстью, Достоевский вначале не ощущал его. Но тем острее должны были быть потом его переживания, еще глубже трагедия духа, когда затихала страсть, и он мучился от того, что был он далеко не „как брат“, оказался ниже ее доверия.

Не поднялся Достоевский и на этот раз выше петербургского периода. Записки из „Подполья“ мучительно остро вскрывают именно эти его переживания, эти тревоги его духа. Они были зачаты, быть может, в это самое время, написаны во всяком случае сейчас же непосредственно после путешествия с Сусловой. И мыслятся эти два произведения:

„Подполье“ и „Игрок“ в такой временной последовательности. Был задуман сначала „Игрок“ в плоскости душевного; здесь внимание сосредоточено на сцеплении внешних событий и на развертывающейся страсти. Алексей Иванович, играющий в романе, по отношению к Полине (Аполлинарии), роль Достоевского, так говорит: „Во все последнее время мне как-то ужасно противно было прикидывать поступки и мысли мои к какой бы то ни было нравственной мерке. Другое управляло мной“. Но потребность катарсиса, в плоскости духа, оттеснила этот замысел, и выдвинулось на его место „Подполье“. Нет необходимости настаивать на сознательном воспроизведении своего личного сюжета; важно то, что они были, эти переживания, и источником для них, в сфере психической, является безусловно этот второй момент, заграничный, в его истории с Сусловой.

3 или 4 сентября по новому стилю они выехали вместе в Италию. Суслова покидает Париж с чувством томительной грусти (запись в дневнике от 5 сентября. Баден-Баден). Она невольно вспоминает о том душевном состоянии, в котором она уезжала из Петербурга. Тогда была радость, избавилась от тяжелого кошмара, и вновь воскресли светлые надежды и мечты о новой и свободной жизни. И вот, чем все это завершилось: „Мне кажется, я никого никогда не полюблю“. Приводится цитата из Лермонтова, о котором она говорила по дороге с Достоевским: „И ничего на этом свете благословить он не хотел“... Да, он был прав. Жизнь и ей кажется „ничтожной и глупой шуткой“. Тем контрастнее воспринимается настроение Достоевского. Он полон сил, жизнерадостен, снова чувствует себя помолодевшим, его взволнованное состояние проявляется во взрывах неистощимой веселости, в юношеской беспечности. (Мы сейчас увидим, как быстро это настроение обрывается.)

Так начинается краткая полоса их совместного итальянского путешествия. Она продолжалась не более двух месяцев и сыграла в их отношениях решающую роль. И теперь Суслова встает перед нами в несколько уже новом облике противоречивых черт своего характера. Казалась нам до сих пор стремительной в своих поступках, прямолинейно-гордой, особен-

но чутко и ревниво относящейся к чувству человеческого достоинства, к чувству чести. В ней сочетание наивной мечтательности с позитивной трезвостью эпохи, идеала чистоты и внутреннего целомудрия — со способностью отдаваться во власть чувственных темных страстей. При всей своей активности, она все же рисовалась нам скорее жертвой, тратившей силы своей недюжинной натуры на примирение неодолимых противоречий между идеалом и действительностью. И вот улавливаем в ней новую черту: как и Достоевский, она тоже умеет мучить не только себя, но и другого с той же утонченностью, у последнего предела ею же пробужденной страсти. Сказывается эта черта, в сущности, уже в самом согласии ее на совместную поездку в Италию, еще ярче — во время путешествия. Пусть в первые дни, в состоянии отчаяния, верила в его „братское“ бескорыстие — хотелось верить, — но потом, вскоре, когда мысленно себе рисовала это совместное путешествие, и воскресало в ее памяти пережитое с ним в Петербурге, то должно же было предстать пред ней положение во всей своей сложности. И, однако, согласилась поехать, взяла на себя ответственность за те мучения, которым он подвергался целых полтора месяца. В той ситуации, в которой развертываются дальнейшие события, — когда она, любя другого, молодого и красивого, им покинутая и все еще продолжающая его любить, позволяет Достоевскому подходить к ней очень близко, но полностью чувства ему не отвечает, — в этой ситуации, к мукам его неутоленной страсти и ревности должно было еще присоединиться чувство оскорбленного мужского самолюбия. Нечто вроде презрения должен был ощущать с ее стороны, и это было самое невыносимое. Что же это с ее стороны? Утонченная месть за прошлое? И только?

В „Игроке“ Алексей Иванович, alter ego Достоевского, говорит о сложности своего чувства к Полине: „И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, т.-е., лучше сказать, опять, в сотый раз ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты (а именно, каждый раз при конце наших разговоров), что я отдал бы полжизни, чтобы задушить ее... А между тем, клянусь всем, что есть святого, если бы.. она, действительно, сказала мне: „бросьтесь вниз“ (с вершины лю-

бой горы), то я бы тотчас же бросился и даже с наслаждением“. И дальше — так рисуется ее к нему отношение: „Мысль о том, что я вполне верно и отчетливо сознаю всю ее недоступность для меня, всю невозможность исполнения моих фантазий, — эта мысль, я уверен, доставляет ей чрезвычайное наслаждение, иначе могла ли бы она, осторожная и умная, быть со мной в таких короткостях и откровенностях?“ Это чувство презрения со стороны Полины Александровны подчеркивается в „Игроке“ не один раз, и ощущается оно именно в этом позволении „говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о своей любви“. В художественном оформлении, почти в той же сюжетной ситуации, воспроизводится Достоевским то сложное сплетение чувств, которые кипели в нем в эту пору, в первые дни итальянского путешествия, — ответно отношениям к нему Сусловой. Возбужденность его душевного состояния поднималась до высшего напряжения, она этому способствовала, сама ее вызывала, а чувство оставалось не разрешенным.

Так, значительной в высшей степени является запись в Дневнике от 6 сентября, Баден-Баден. Запись начинается несколько издали: „Дорогой он сказал мне, что имеет надежду, хотя прежде утверждал, что нет. На это я ему ничего не сказала, но знала, что этого не будет. Ему понравилось, что я так решительно оставила Париж. Он этого не ожидал. Но на этом еще нельзя основывать надежды — напротив“. Это „напротив“ очень характерно. Потому и согласилась так скоро поехать с ним в путешествие, что чувствовала себя спокойной, его присутствие ни в малой мере не пугало ее. „Знала, что этого не будет“. А Достоевский? Только ли в дороге появилась у него надежда? Передается первая жуткая ночная сцена, в которой, при всей безыскусственной однотонности речи Дневника, ясно слышится напряженное борение с охватившей его страстью, особенно запоминается первый прилив страсти, когда, взволнованный, внезапно встает, едва сдерживая желание поцеловать у него ногу. С исключительной остротой подчеркивается в „Игроке“ „следок ноги ее (Полины), узенький и длинный — мучительный, именно мучительный“. И дальше из разговора, уже на завтра после ночной сцены, из слов Достоевского, здесь же приводимых, так же ясно воспринимается, как она ощущает

свое превосходство, власть безграничную над ним, как и Полина в „Игроке“ — над Алексеем Ивановичем. „Он сказал, что у меня была очень коварная улыбка, что он верно казался мне глуш, что он сам сознал свою глупость, но он бессознательна“.

Их душевные переживания подвергаются дальше большим колебаниям. Вскоре наступают дни, сравнительно тихие, умиротворенные; улеглись на время страсти, и засиял лик истинно человеческий. Тогда, точно лучи солнца, пробирающегося среди темных облаков в кусок ясной лазури, обнаруживается и другая основа их отношений. Была не одна только страсть, слепая, воспаленная — с его стороны, и не одно, со стороны Суловой, наслаждение своим превосходством, своей властью, с оттенком мучительства, но и настоящая духовная близость, глубокое чувство сострадания и жалости друг к другу. Так, среди набросков записей, в которых мелькают, лениво отражаясь, легкие быстротекущие впечатления в пути, — выделяется одна значительная запись (От 17 сентября, Турин), действительно бросающая этот новый, тихий и радостный свет душевного покоя и умиротворения. Сулову охватывает сознание своей вины; у нее нежность и ласка родного, близкого человека. И он ответно — уже „как брат“. И мысль его, освобожденная от тягостных переживаний прошедших дней, снова выходит, хотя бы на короткий момент, за узкие пределы личного „я“. Он смотрит на девочку, которая брала уроки, и говорит: „Ну, вот, представь себе — такая девочка со стариком и вдруг какой-нибудь Наполеон (приказывает): „Истребить весь город“. Всегда так было на свете“. Видится доподлинный Достоевский таким, каким мы его знаем по его художественным творениям, с этими обычными трагическими сопоставлениями: Носитель рока, Наполеон, и рядом малое, невинное дитя.

Но вот снова наступает бунт страстей. „Рыцарь бледный“ опять превращается в настойчивого и жестокого „Алексея Ивановича“, преследующего жертву свою; слова стали более обнаженными, изменился резко тон, сделался откровенным до цинизма. Измученный, неудовлетворенный, он, очевидно, уже окончательно убедился, что вся надежда его на Италию не оправдалась. Такова ночная сцена, воспроизведенная в записи Дневника от 29 сентября, Рим. Сцена груба и цинична и в то же

время проникнута его глубокой печалью, чувством безнадежности. Среди бурного, ничем уже не сдерживаемого чувства ревности прорывается вдруг жалоба: „Не хорошо мне. Я осматриваю все, как будто по обязанности, как будто учу урок“. Оскорбленное мужское самолюбие, мужская гордость, сделала его на минуту искусственно веселым и развязным, но тут же он сам сознается, что эта „веселость досадная“; а она видит это и понимает, какая боль скрывается за его „грубостями“ и „циничностями“. Мы имеем здесь, в передаче Суловой, второй и самый высший момент личной драмы Достоевского. Быть может, никогда раньше она не переживалась им так остро и напряженно, как именно в этот последний месяц. По мере приближения путешествия к концу, драма все более и более нарастала, и вот теперь он ясно увидал, что прошлое, петербургский период, остался далеко позади, ему уж никогда не повториться.

Обольстительностью романтической тайны окутывает Достоевский облик Полины Александровны из „Игрока“: она проходит как-то чистой, незапятнанной среди той грязи, которая окружала ее, в которую, было, сама добровольно окунулась. В сюжетной ситуации ее путь, в сущности, тот же, что и *м-ле Blanche*; в прошлом — француз де-Грие, в будущем, тоже без любви, — англичанин, мистер Астлей. Истинная любовь у нее к одному только Алексею Ивановичу, — любовь в соединении с глубочайшей ненавистью и отвращением за ту ночь, когда она „пришла к нему вся“, — бросает этот таинственный свет на ее гордую фигуру. Не так ли воспринимал Достоевский и Сулову? Не только позже, когда воспроизводил ее сложную натуру в художественной памяти своей, — в 1866 г., когда писал „Игрока“, — но и во время самого путешествия, вот сейчас, мстя ей грубо-цинично за „ее недоступность и всю невозможность исполнения его фантазий“. В конце 1865 г., накануне окончательного разрыва, когда Сулова была уже в Петербурге, виделась часто с Достоевским — он тогда „предлагал ей руку и сердце и только сердил этим“ — приводится в ее Дневнике такая фраза, им произнесенная: „Ты не можешь мне простить, что раз отдалась, и мстишь за это“.

Плоской, лакейски-грубой шуткой закончил Достоевский

эту ночную сцену 29 сентября: „Мне унижительно так тебя оставлять... Ибо россияне никогда не отступали"... Но в памяти остается острота его очень грустных слов: „не хорошо мне... я на все смотрю, как будто по обязанности, как будто учу урок“.

Сентябрь месяц был самым бурным в их путешествии; дальше наступает видимое успокоение и, очевидно, уже больше не нарушалось. В Дневнике опять идут мелкие наброски небольших жанровых картинок, несколько случайных встреч с случайными людьми, упоминание о ссорах с Достоевским но уже идейного характера (одна ссора „из-за эмансипации женщин“) и т. д. Выделить нужно, пожалуй, только одно событие, к сожалению тоже переданное очень кратко: это неожиданное свидание с Герценом и его семьей „на корабле, в самом Неаполе“. Свидание было, повидимому, весьма дружеское. Достоевский провожал Герценов, они сошли в Ливорно, и был у них в гостинице. Из приложенных здесь писем Достоевского к Сусловой видно, что в это время он особенно дорожил вниманием, Герцена.

На этой встрече с Герценом, которая обоих воодушевила, кончается последняя запись в Дневнике о путешествии по Италии. На обратном пути они доехали вместе до Берлина. Прожив там двое суток, Сулова вернулась в Париж, а Достоевский направился в Россию: не прямо, а через Гамбург. Алексей Иванович из „Игрока“, после всех своих приключений в Бадене, потеряв уже навсегда Полину Александровну, тоже отправляется в Гамбург, пробует счастье, ставя на рулетку последний гульден. Так и Достоевский. В записи от 27 октября Сулова пишет, что „вчера получила письмо Ф[едора] М[ихайловича], — он проигрался и просит прислать ему денег. Я решила заложить часы и цепочку“. Она достала триста франков и немедленно послала ему. Так, одному из „предрассудков“ отвергнутого сю (в одной из записей Дневника) „катехиза“ она невольно отдала свою дань, оплатив сейчас же расходы свои во время путешествия.

Обрываются надолго, больше чем на год, непосредственные их отношения. Продолжалась переписка, порою, очень

оживленная; переписывались не только до самой женитьбы Достоевского на Анне Григорьевне Святкиной, но и после. Были за это время и попытки к новому сближению, кажется от него исходившие. Нужно думать, что из переписки она многое знала из дальнейших событий его жизни. В Дневнике, однако, все это почти не находит отражения. Да и самое имя Достоевского мелькает отныне все реже и реже: так резко расходятся их жизненные пути; ее внимание поглощено иной сферой интересов, новыми встречами и новыми связями. Но осталась неизгладимой печать, наложенная на нее Достоевским; пережитое в связи с ним определило в большой степени характер последующей ее жизни.

Она вернулась в город суеты и соблазнов, очутилась в прежней обстановке, и снова придвинулась парижская полоса, вызывая то же прежнее сложное чувство к „законченному европейцу“: любви, горечи, незабываемой обиды, быть может, и жажды мщения, и оно, это чувство, целиком ее захватило и покорило себе. И оттого, что так поглощена своими личными переживаниями, она кажется особенно одинокой в этом огромном мире чуждых ей людей и интересов. И это сразу и надолго определяет ее отношение к Парижу: он представляется ей „решительно отвратительным“. В первый раз прозвучал здесь (в записи от 22 октября) мотив отращения к чужой и чуждой культуре, и будет он все сильнее и сильнее звучать в дальнейших ее записях вместе с часто возвращающимися к ней воспоминаниями об этом „европейце“: точно через призму своих отношений к нему она отныне и надолго воспринимает все окружающее. А вспоминает Сулова о нем часто, и неизменно все в той же сфере безнадежной любви и горького разочарования. Так смотрит она на пестрый, волнующийся вокруг чуждый ей мир из глубины своего одиночества и все усиливающейся тоски неудовлетворенного сердца. В словах, взятых у Достоевского („Зимние заметки о летних воспоминаниях“), еще вероятнее — у Герцена („С того берега“), находит она лучшую формулировку собственным мыслям, своей личной оценке. За внешним, ослепительно блестящим покровом западно-европейской жизни и тех идей, которые выросли на ее почве, ей тоже видится, как и им, нравственный распад и погружение в ме-

щанство; гибель физическая и духовная. „Я скажу в качестве варвара, как некогда знаменитый варвар сказал о Риме: „этот народ погибнет“. Лучшие умы Европы думают так: здесь все продается, все: совесть, красота; продажность сказывается во всем: в позах, в выточенных словах, в костюмах, в походке“ (запись от 12 декабря). И дальше: „Какая суетность. Я теперь одна и смотрю на мир как-то со стороны, и чем больше я в него вглядываюсь, тем мне становится тошнее. Что они делают, из-за чего хлопочут, о чем пишут? Вот тут у меня книжечка, шесть изданий и вышло в шесть месяцев.. Восхищаются тем, что в Америке булочник может получить несколько десятков тысяч в год, что там девушку можно выдать без приданого, 16-летний сын в состоянии себя прокормить. Вот их надежды, вот их идеал. Я бы их всех растерзала». (Запись от 17 февраля 1864 г.)

Сусллова отвергает этот окружающий мир с его мелкими, ничтожными интересами и бескрылыми идеалами. А когда думает о себе, о тех узах, которые невольно связывают ее с Парижем, то испытывает страх за себя и за свое будущее. В килении пустом тратятся теперь ее силы, и в сущности ей глубоко безразлично, где жить и чем заполнять бесконечно долгие часы бесцельных дней. Она — одна из тех, у кого нет определенного места и цели, а такие не могут оторваться от этого города, „для них он действительно имеет что-то“. Так пишет она в Дневнике от 2 апреля 64 г., и в той же записи следующие очень грустные строки: „Назойливая тоска не оставляет меня в покое. Страшно давящее чувство овладевает мной, когда я смотрю с Бельведера на город. Мысль потеряться в этой толпе наводит какой-то ужас“.

Видим здесь сложнейший узел запутанных, своих и заимствованных, мыслей и чувств, которые она не в состоянии собрать воедино; ослабела прежняя воля, не стало сил, чтобы сделать какой-нибудь решительный шаг. Исчезли какие-то основы жизни, самые нужные — это первая ступень духовного падения. Ей предстояло до конца пройти этот круг, путем новых и новых испытаний докатиться до той последней грани, за которой либо окончательная гибель, либо... возрождение. В данный момент она решает, что нужно идти по линии наимень-

шего сопротивления. Начинается с того, что у нее появляется жадность на новые лица и впечатления. Мелькают изредка, среди знакомых и временно близких, люди покрупнее, у них она иногда ищет и находит поддержку: в среде эмигрантов, с некоторыми сойдясь довольно близко, снова вспоминает на время свои былые, еще из Петербурга, общественно-политические интересы. Но это меньше всего тама ее жизни. Вот записи Дневника, узко личные, создают постепенно другой фон; на этом фоне — и чем дальше, тем это яснее, а по истечении первого года после итальянского путешествия среди ее знакомых большинством оказываются герои данного момента, поскольку можно хоть на миг испытать с ними, с каждым из них, некую иллюзию полноты и цельности переживаний. И после каждой легкой вспышки чувства, похожего на страсть, душа испытывает еще большую неудовлетворенность, и мысль о самоубийстве становится привычной.

Такова, в общих чертах, внутренняя жизнь Суслловой в этот второй парижский период, сменивший недолгий итальянский период с Достоевским. И соответственно разворачивается и внешняя ее история. Выделить особо можно, пожалуй, встречу с двумя писательницами: одна старая, уже начинавшая терять свою былую популярность — графиня Салнас (Евгения Тур), другая — только-что стала известной, благодаря усиленному покровительству Тургенева: Марко Вовчок (Маркович). Знакомство с Маркович (в начале апреля 1864 г.) ограничилось всего несколькими встречами; в Дневнике ее имя попадает в апрельских и майских записях, позднее — еще раз — другой и потом исчезает. Здесь не было равенства. В упоении своей начинающейся славой, Вовчок явно выказывала высокомерие: снисходительно похваливала рассказы Суслловой, когда та читала их у нее на дому; всячески, вольно и невольно, подчеркивала свое „величие“. Но с Салнас отношения сложились иначе. С первой же встречи они почувствовали друг к другу большое расположение, которое превратилось очень скоро в дружбу, длившуюся до самой смерти Салнас. Помимо записей в Дневнике, об этом свидетельствует еще и переписка с ней охватывающая не только весь период заграничной жизни Суслловой, но продолжавшаяся и дальше, уже по возвращении ее в Россию

в течении нескольких десятков лет. И видим мы по этой перениске, как они были между собою откровенны. Салиас знала всю ее внутреннюю жизнь, раскрывала перед нею и свою, с материнской чуткостью относилась к ее горестным переживаниям, нередко пытаясь воздействовать словом, согретым истинной любовью.

В доме Салиас Сусллова и столкнулась с этой новой эмигрантской средой, молодой и деятельной: с Утиным, Лугининым, Николадзе, с сыном Салиас—Вадимом и др. Встречалась с ними довольно часто, некоторых зная близко еще по Петербургу. Казалось бы: вот они, стойкие и смелые, борцы за те идеи, которые сама исповедывала в начале своего жизненного пути. В поисках дела, которое целиком бы ее захватило, она могла бы стать теперь, пусть на время, политической деятельницей. Но органически чужды были ей крайние воззрения этой молодежи в ту пору; она говорит о них в своем Дневнике часто с насмешливой иронией. В розни отцов и детей, которая, надо полагать, нередко ощущалась в доме Салиас, Сусллова вряд ли была целиком на стороне детей. Сама—ярко выраженная личность, она больше всего дорожила свободой и самобытностью человека—тем, что делает его индивидуальностью. Оттого и передает она так возмущенно слова Лугинина, что „с большим бы удовольствием послужил Франции или Англии, но остается в России потому, что знает русские обычаи и русский язык, но с русскими ничего общего не имеет: ни с мужиком, ни с купцом, не верит его верованиям, не уважает его принципов“... Подобным взглядам Сусллова резко противопоставляет свою горячую любовь к родине, в частности к мужику; все детство провела в деревне, нутром своим знает мужика; мужицкая кровь течет в ее жилах, и она этим гордится. Так обнаружилось вскоре коренное расхождение между нею и молодежью, и это еще больше углубило чувство ее одиночества. Дальнейшие ее записи сосредоточены на тех же прежних ее переживаниях.

От прошлого остались одни лишь „оскорбления и страдания“—таков печальный итог пройденной полосы ее жизни. Итог не полный: одну часть его, и самую страшную, Сусллова выражает словами очень редко и скупно, но вся ближайшая ее

жизнь, в течение нескольких месяцев—осень 1864, зима 1865 г.—свидетельствуют об этой части итога с достаточной яркостью; это то, что мы выше определили как духовное падение, и в чем она больше всего винит Достоевского. Падение сказывается прежде всего в катастрофическом понижении всего диапазона ее душевных переживаний, ставших вдруг какими-то маленькими и мелочными,—в этой явно ощутимой пошлости, которая проявляется теперь в ее отношениях к окружающим ее людям.

Зимой прошлого 1864 года, при всей сосредоточенности ее на сугубо-личном, на переживаниях в связи с дважды неудачной любовью, она все же жизнь свою разнообразила, как умела, посещала лекции, ходила заниматься в библиотеку, обнаруживала порою милый и легкий юмор: в беседах ли с окружающими людьми, в зарисованных ею жанровых картинах; нередко и охотно пользовалась своим художественным зрением, отмечая характерное в данном факте или жизненной сценке—ее смешную или печальную сторону. Все это теперь как будто исчезает. Она ищет только одного: как бы рассеяться, забыться хотя бы на мгновение, именно чтобы ее заняло что-нибудь, в сущности даже безразлично—что.

„Новое может меня занять, и то до известных пределов“—так заканчивается запись от 24 сентября. И на поиски этого нового, скоропреходящего,—пусть оно легкой рябью бороздит поверхность ее души,—тратит Сусллова остаток своих сил, порою чувственностью подменяя, некогда ею изведенное, чувство любви. И мелькают в ее Дневнике, точно серые сумеречные тени, лишённые яркости и глубины, эти слабо очерченные фигуры, герои романа на час, игру в любовь с которыми она подробно описывает, как бы вновь пытаясь пережить приятную раздраженность одним и тем же занятием воображения. С некоторыми пробует шире раздвинуть эти „известные пределы“, тогда появляется иллюзия настоящей любви, и душа на мгновение точно оживает; но опыт выработал в ней способность к самоанализу и к иронии. Поэтому тем быстрее наступает отрезвление и уже остается после него не только горечь, но и мутный осадок плотно прилипшей грязи, которую сама же допустила.

Эти герои большей частью безымянные, — в той плоскости, в которой она ими интересуется, они ведь так похожи друг на друга, затухающие под своей национальностью (валлах, грузин, англичанин, француз) или под профессией (лейб-медик); она попеременно дарит свое внимание каждому из них, иногда кому-нибудь — особенно подчеркнуто, чтобы тем самым вызвать усиленный интерес у другого, если можно: нечто вроде ревности. «Валлах простой, наивный. Это новизна»... «Мы долго говорили, а когда пошел домой, он крепко жал мою руку». Или: «Я сказала лейб-медику, что изволнована одной встречей. Он этому придавал большую важность и был грустен... Прощаясь со мной, он по нескольку раз принимался жать мою руку... уходя оборачивался в дверях, чтобы еще раз взглянуть на меня» и т. п., и т. п. Отношения к лейб-медику с самого начала разветвляются сложнее. Ее увлекает его наступательная активность, игра начинает казаться занимательной, тем более, что сопровождается небольшими ссорами и примирениями, которые еще больше сближают их. Но тут же — в перерыве — целый эпизод с неким Робескуром, жившим в одной с ней гостинице. И дальше еще целый ряд лиц: какой-то русский доктор, «которого принуждена была выпроводить за слишком сальное с ней обращение», какой-то англичанин, опять валлах и лейб-медик... «Утин крепко жал руку и не выпускал»,... «Был Вадим и долго говорил о любви»... Подчеркивается чуть ли не каждое крепкое пожатие мужской руки, каждое слово, сказанное так, что можно за ним усмотреть другой, потаенный, потому тем более соблазнительный, смысл. Так проходит в томительнейшем однообразии большая часть ее Дневника, сосредоточенного преимущественно на этой одной теме. Блеснет изредка старое: какое-нибудь меткое наблюдение над людскими нравами, едкая насмешка над человеческой тупостью и лицемерием; подхватит и передаст наиболее характерное у собеседника или — очень точно — большой и серьезный политический диалог (революционера Утина с конституционалистом Усовым, поклонником английской государственности), не пощадит порою смешные стороны даже друзей (графини Салиас). Но все это лишь отдельные пятна на главном и основном сером фоне записей за последние месяцы. В Дневнике это самые тяжелые

страницы, от которых порою остается гнетущее впечатление, точно присутствуешь при начавшемся уже разложении некогда столь сложной души. Все глубже и глубже затягивала ее тина пошлости, и она сама сознавала свое медлительное, но неуклонное измельчание и мучилась тем более, что все слабее и слабее чувствовала в себе те силы, которые могли бы разом вырвать ее оттуда, из этой тины пошлости.

«Я чувствую, что мельчаю, погружаюсь в какую-то тину нечистую и не чувствую энтузиазма, который бы из нее вырвал, спасительного негодования» (из записи от 14 декабря 1864 г.). И опять, как и во всех других случаях, когда волна отчаяния доходит до своего предела, в памяти ее сейчас же всплывает образ Достоевского, все тот же ранний петербургский период. «Когда я вспоминаю, что была я два года назад, я начинаю ненавидеть Д[остоевского]. Он первый убил во мне веру». Никогда еще не указывала она так ясно на первопричину своего духовного падения, как в этот раз, когда почувствовала себя униженной этой «тиной нечистой»: в своих собственных глазах.

«Я хочу вытряхнуть эту печаль» — так заканчивает она эту последнюю запись. Но как? Каким из двух путей? Путем ли трудного восхождения, медленным очищающим актом воли, направляемой идеалом «сияющей чистоты», или падением уже окончательным, подменой доподлинной человеческой гордости, источник которой в обаянии совершенства, цинической личиной последнего отрицания? В ее душе разыгрывается сложнейшая борьба. Уста открыто «произносят хулу»; ей кажется, вся беда в том, что у нее еще очень много «предрассудков», надо только освободиться от них, и жизнь станет простой и легкой. А между тем внутри, медленно, но неуклонно, начинается и идет поворот, быть может, ей самой еще неясный. «Предрассудки», к счастью, оказались гораздо сильнее, чем она думала. Все чаще и явственнее в потоке чувственности ощущаются ею какие-то остановки; своей волей умирляет ее напряженность, в смутном чаянии возрождения и в предчувствии возможности его. Так возникает у нее мысль уехать в какой-нибудь маленький город, чтобы быть совсем одной, подальше от общественной лжи. И пусть осуществляет эту мысль свою не сейчас —

из Парижа она уезжает лишь в последние числа февраля 1865 года — ее настроение уже сейчас начинает казаться как бы ровнее, как бы отдаленнее от волнующих переживаний последнего полугодия.

Сусллова выбрала Монпелье, думается, не без связи с тем, что там находилась в то время Тучкова-Огарева, с которой она познакомилась довольно коротко, благодаря графине Салиас; Герцен и Огарев уже давно были с Салиас в приятельских отношениях. Они встречались с нею у Левицкого, бывали у нее на званых обедах, изредка переписывались. В эту зиму, в конце ноября и в декабре, они должны были видаться особенно часто, когда у Тучковой дети болели скарлатиной, двое из них умерли в течение одной недели, а Лиза, третий ее и Герцена ребенок, была взята графиней. Тогда, по всей вероятности, Сусллова познакомилась ближе и с Герценом.

Оттенок серьезного раздумия улавливается теперь в ее записях — в период пребывания в Монпелье. И что всего характернее — перед нею снова начинают носиться планы будущей жизни, и близкой кажется мысль о возвращении в Россию, чтобы поселиться где-нибудь в провинции и открыть школу для народа. Мысль вскоре приобретает реальные очертания. Из переписки с Огаревой (в середине марта Огарева уехала в Женеву) ясно видно, как сильно занимает Сусллову эта будущая деятельность; она, повидимому, решила использовать ближайшее время для более серьезной к ней подготовки. И точно в глубь уходят ее бывшие переживания, утихает ненависть к своему прошлому, к Достоевскому; тогда, очевидно, снова выступает перед нею начало светлое в нем. Надо полагать: то на его зов откликается она своей поездкой к нему в Висбаден осенью 1865 года.

Мы приблизились к моменту возвращения Суслловой в Россию: в первых числах октября она была уже на родине. В Петербурге пробыла около четырех месяцев. В ее Дневнике за это время имеются всего две записи: от 2 и 6 ноября; они обе касаются Достоевского и видно по ним — отношения у них очень тяжелые. Это последние ее записи, на них Дневник обрывается и вместе с ним и наши прямые сведения, от нее исходящие, о дальнейшей судьбе ее в связи с Достоевским.

Что отношения не совсем прекратились, время от времени они продолжали во всяком случае переписываться, мы узнаем уже из другого источника, тоже дневника¹⁾: законной жены Достоевского, Анны Григорьевны. В нем несколько раз упоминается имя Суслловой, и, как уже было указано, жгучей ревностью проникнуты те строки, в которых рассказывается о фактах, питавших это чувство.

„...Я скоро узнала, что было мне нужно, — пишет Анна Григорьевна в дневнике от 27 апреля 1867 г., — и вернулась домой, чтобы прочитать письмо, которое я нашла в письменном столе Феде. Это письмо было от С[услловой]. Прочитав письмо, я так была взволнована, что просто не знала, что делать. Мне было холодно, я дрожала и даже плакала“. Это, по всей вероятности, то письмо Суслловой, ответ на которое Достоевского был уже напечатан²⁾. Отмечаем здесь еще раз, как глубоко еще его чувство к ней; невольно, а может быть и намеренно, вскрывается та истинная причина, по которой он решил пожертвовать „поэзией“ — Суслловой — ради „прозы“ — Анны Григорьевны: „О, милая, я не к дешевому необходимому счастью приглашаю тебя. Я уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность... ты людей считаешь или бесконечно сияющими, или тотчас же подлецами и пошляками“. Повторяем: так определяет сам Достоевский ту схему колебаний, в которую, в известной степени, укладывались ее отношения и к нему.

Ответ Суслловой на это письмо, поскольку можно судить по дневнику А. Г., был, повидимому, очень определен и резок; А. Г. получила его в отсутствие Достоевского. „Я торопливо пришла домой — страшно в душе волнуясь, достала ножик и осторожно распечатала письмо. Это было очень глупое и грубое письмо, не выказывающее особенного ума в этой особе. Потом я вынула чемодан и рассмотрела его письма, многие из них я уже читала прежде.“³⁾

Но вряд ли правильно охарактеризовала Анна Григорьевна письмо Суслловой. На Достоевского оно во всяком случае

¹⁾ Дневник А. Г. Достоевской, изд. „Новая Москва“. 1923 г.

²⁾ См. „Недра“ № 2: письмо приложено здесь вместе с другими письмами Достоевского к Суслловой.

³⁾ См. запись от 4/16 мая, стр. 48.

произвело впечатление чрезвычайно сильное, должно быть, всколыхнуло в нем всю сложную гамму его прежних чувств, столь глубоко и столь тесно связывавших с ней. В записи от 15 мая — А. Г. так рассказывает об этом: Достоевский только что вернулся из Гамбурга, они сидели за чаем и он „спросил, не было ли ему письма. Я ему подала письмо от нее. Он или действительно не знал, от кого письмо, или притворился незнающим, но телько едва распечатал письмо, потом посмотрел на подпись и начал читать. Я все время следила за выражением его лица, когда он читал это знаменитое письмо. Он долго, долго перечитывал первую страницу, как бы не будучи в состоянии понять, что там было написано, потом, наконец, прочел и весь покраснел. Мне показалось, что у него дрожали руки. Я сделала вид, что не знаю, и спросила его, что пишет Сонечка. Он ответил, что письмо не от Сонечки, и как бы горько улыбался. Такой улыбки я еще никогда у него не видала. Это была улыбка презрения или жалости, право не знаю, но какая-то жалкая, потерянная улыбка. Потом он сделался ужасно как рассеян, едва понимал, о чем я говорю“.

Вряд ли можно уловить здесь хоть тень презрения: „он весь покраснел“, и „дрожали у него руки“, и „улыбка горькая, жалкая, потерянная улыбка“... Анна Григорьевна каждую запись обыкновенно кончает лирическим рефреном: ночным прощанием, — этим „часом или получасом, составляющим самое задушевное и счастливое время нашего дня“. В этот день этого счастливого часа не было.

От 29 мая — она снова записывает в дневнике, что было письмо от С. (Сусловой): его переслал вместе с другими письмами Паша из Петербурга.

В одном месте Анна Григорьевна приводит еще такую сцену: она собиралась идти на почту отправлять матери письмо; „уходя, когда он меня спросил, на какую я иду почту, я отвечала, что на эту, чтобы не беспокоился, что я не пойду на большую почту и не возьму его письмо, что этого не будет. Он ничего не отвечал, но когда я отошла, он быстро подошел ко мне, и, с дрожащим подбородком, начал мне говорить, что теперь он понял мои слова, что это какой-то намек, что

он сохраняет за собою право переписываться с кем угодно, что у него есть сношения, что я не смею ему мешать“.

Дневник Анны Григорьевны обрывается на 24 августа, и мы не знаем, как долго продолжалась на этот раз переписка Достоевского с Сусловой. Быть может, удастся когда-нибудь найти еще следы этой длительнейшей и глубочайшей связи Достоевского с той, которую он называет — именно в этот период, после целого года разлуки, и уже после женитьбы на Анне Григорьевне — своим „другом вечным“.

Нам осталось теперь досказать вкратце то, что нам известно о Сусловой, о дальнейшей ее жизни, из других источников.

В историко-революционном архиве хранится дело под таким заглавием: „Производство высочайше учрежденной в С.-Петербурге следств. комиссии о суд. следователе Лебедянского уезда Василии Прокофьеве Суслове и сестре его, дочери вознесенского купца — Аполлинарии Прокофьевне Сусловой“. Начато 2 июня 1866 г., кончено 17 апреля 1869 г. В основу дела положены показания некоей Ал. Комаровой о том, что Вас. Суслов давал ей прокламацию № 2 „Свободы“, а у Сусловой была большая пачка прокламаций „Великоросс“. Комарова познакомилась с Сусловым на второй день Пасхи 1863 г., жил он тогда по ее сведениям, с матерью и сестрой.

В феврале 1864 г. Василий Прокофьевич был переведен в Тамбовскую губернию следователем. В сентябре 1865 года за ним был установлен негласный надзор за принадлежность к партии нигилистов, а 2 июня 1866 г. послан был телеграфный приказ Муравьева: Суслова обыскать и бумаги переслать в Петербург. Про Суслова тамбовский губернатор сообщает, что она приехала из Петербурга в Тамбовскую губернию в марте 1866 г. и что ей 26 лет. Из „дела“ же мы узнаем, что 4 июля того же года Суслова обратилась к лебедянскому исправнику с просьбой вернуть ей забранные при обыске рукописи, среди которых „имеются произведения, приготовленные для печати“. Указывается адрес, по которому она просит их переслать: „Владимирская губ., Шуйского уезда, село Иваново“.

Такова первая стадия дела о Сусловой. Она осталась на свободе, хотя из отобранных бумаг ее видно было, что за границей она находилась в „сношениях с лицами, враждебными правительству“: с Утиным, с Герценом, и что в письмах к ней были „ругательства на Россию“ за жестокую расправу с поляками во время польского восстания.

Дальше следует перерыв в два года. Мы знаем только, что в конце 1868 г. она сдала при Московском университете какой-то экзамен — очевидно на звание учительницы, и 12 декабря открыла в с. Иванове школу-пансион для приходящих девиц. Председатель следственной комиссии Ланской 2-й доводит об этом до сведения мин. нар. просв. Д. Толстого, представляя „дальнейшее решение на личное его усмотрение“. В то же время просит также и гр. Шувалова, шефа жандармов, не оставить ее своим вниманием; обвинения против нее такие: она нигилистка, была одно время распорядительницей в воскресной школе при Михайловской артиллерийской Академии и опять: сношения с эмигрантами. А дальше было так: министр нар. просв. Д. Толстой затребовал объяснения от попечителя Моск. учебн. округа, тот от директора училищ Владимирской губернии, и в результате — о Сусловой было сообщено следующее: Сусллова действительно — человек неблагонадежный; во-первых она носит синие очки, во-вторых, волосы у нее подстрижены. Кроме того, имеются слухи, что „в своих суждениях она слишком свободна и никогда не ходит в церковь“.

Школа просуществовала месяца два и была закрыта, удостоившись очень теплого некролога одного из местных жителей, описавшего яркими красками потерю, понесенную иваново-вознесенцами, и горе детей, оставшихся без школы. В некрологе было и негодование, и слезы, и жалоба на судьбу, и похвалы Сусловой, и горячее к ней сочувствие. См. Пет. Вед. от 29/III 1869 г.

И снова обрываются наши сведения о Сусловой до 1872 года, когда она на время появляется среди первых слушательниц только что открывшихся в Москве курсов Герье. Нам рассказывала о ней тоже одна из первых слушательниц на этих курсах — Е. Н. Щепкина. Щепкина помнит ее сидящей за тем столом, который облюбовали себе наиболее серьезные студентки, пришедшие на курсы не из-за моды, а с целью работать и учиться

То было новое поколение, с иными, уже общественными настроениями, вздымалась выше революционная волна, носилась в воздухе идея хождения в народ. Сусллова была среди них чужой, человеком 60-х годов; она ни с кем не сблизилась; замкнутая, она, однако, импонировала им своей „серьезной сосредоточенностью“, особой печатью строгости; она казалась им несколько таинственной. По словам Е. Н. Щепкиной, Сусллова не долго пробыла на курсах, и снова уехала к брату, может быть, в ту же Тамбовскую губернию.

Несколько менее скудны наши сведения о ней (о втором длительном петербургском периоде ее жизни) в связи с В. В. Розановым.

Розанов женился на Сусловой еще при жизни Достоевского в 1880 г., когда ей было 40 лет а ему 24. В его переписке с А. Г. Достоевской ей уделяется особенное внимание. Письма его писались через десять лет после разрыва, в момент очень тяжелый для новой его семьи, незаконной, страдавшей от своей „незаконности“ именно благодаря Сусловой. Было у Розанова достаточно причин, чтобы относиться к ней весьма враждебно. Если с точки зрения фактической правды в том, что он пишет Анне Григорьевне, мы пока еще не имеем достаточных оснований сомневаться до конца, то освещение он дает характеру и роли Сусловой в его жизни, безусловно, слишком субъективное. Тем более, что здесь нужно еще считаться с тем, кому он обо всем этом пишет. Может быть, то чувство ревности, которое Анна Григорьевна когда-то питала, совсем умолкло и после смерти Достоевского, и Розанов пишет ей так, как пишут человеку, в сочувствии которого заранее убеждены, поскольку у них как бы общие интересы, соприкасающиеся в единой плоскости переживаний.

Он говорит о Сусловой с большой горечью: это она искавила навсегда весь его характер и всю его деятельность, исковеркала семейную его жизнь; ему, безвинному, мстила тем, что в течение почти двух десятков лет ни под каким видом не соглашалась на развод, так что дети его от второй жены долго не могли носить его фамилии. Розанов соглашается с Анной Григорьевной, что Сусллова „цинична“, свою совместную жизнь с нею он представляет как сплошную жертву, в течение шести

лет выносил он все „мучительно фантастические изломы“ ее невыносимого характера, пока, наконец, в 1886 г. не разыгралась одна из чудовищных по нелепости выходов Сусловой, и она его бросила.

Шесть лет они прожили вместе, шесть лет он страдал от нее. И вот как рассказывает о том, что он чувствовал и как мучился, когда она его покинула. „Я помню, — пишет он, — что когда Сулова от меня уехала, я плакал и месяца два не знал, что делать, куда деваться, куда каждый час времени девать“. „С женой жизнь так ежесекундно слита и так глубоко слита, что образуется при разлуке ужасное впечатление пустоты и искание забвенья вот на этот час — неминуемо“.

Вот как болезненно Розанов ощущал ее отъезд, и не только в первые два месяца. В 1890 г., через четыре года после того, как она его покинула, он все еще отказывает ей в выдаче отдельного вида на жительство, все еще надеется, что она возвратится к нему. Он пробует все средства воздействия на нее: умоляет приехать к нему на новое место службы (в Елец), но получает в ответ „грубые и жестокие слова отказа“: „Тысяча людей находятся в вашем положении и не воют — люди не собаки“; обращается за помощью к отцу Сусловой, у которого она временно поселилась; тот бессилён, и, наконец, жалуется на нее жандармскому начальству.

Сулова к нему не вернулась. И вот только в 1897 г., когда у него было уже двое детей, Розанов согласился выдать ей отдельный вид на жительство. Что за странная таинственная сила была в этой натуре, если и второй, почти гениальный человек, так долго любил ее, эту раскольницу поморского согласия, так мучился своей любовью к ней? Повторяем, мы имеем все основания с самого начала относиться несколько настороженно к характеристике, данной ей Розановым: факты, им же сообщенные, говорят против него. „Она искавила навсегда весь его характер и всю его деятельность“: — тогда ли, в те шесть лет, когда была его женой, или тем, что бросила его? И когда она стала для него „единичной“?

А Сулова, действительно, почему-то мстила ему долго, чуть ли не всю жизнь; считала себя в праве лишить его, посколькy это от нее зависело, семейного благополучия. В 1902 г.

к ней отправился в Севастополь друг Розанова просить ее, чтобы она согласилась дать развод. Тогда ей было уже 62 г.; она говорит о Розанове с крайней злобой и наотрез отказывается пойти на какие-бы то ни было уступки. И уж всего за несколько лет до смерти, в 1916 году, переменяющая, — быть может, под влиянием своей сестры, Надежды Прокофьевны, и людей ее окружавших, — убеждения своей молодости, настроенная, во время империалистической войны, крайне патриотически, — тогда в статьях Розанова Сулова могла бы найти достаточно яркий и талантливый отклик своим взглядам, — но пишет она своему племяннику, молодому писателю Е. П. Иванову: „Стану я читать такого фальшивого, чиновного и продажного человека!..“

Как объяснить эту непотухающую злобу? Какое освещение этой полосе ее жизни могли бы дать ее письма, если она кому-нибудь писала об этом втором петербургском периоде своей жизни с Розановым, и если бы эти письма могли быть когда-нибудь обнаружены!..¹⁾

Фигура великого мученика и мучителя, Достоевского, бросает жуткий зловеющий свет на начало жизненного пути Су-

¹⁾ Статья эта была уже набрана, когда нам представился случай, благодаря любезности Е. П. Иванова, ознакомиться с новыми письмами Салтис к Сусловой, совершенно по-иному освещающими причину ее разрыва с Розановым. Как видно из письма Салтис от 10-го августа 1868 года, уже тогда, вопрос о разводе стоял весьма остро, Сулова, очевидно спрашивала ее совета и Салтис, настаивая на согласии, приводит между прочим такие доводы: „Смотрите, чтобы этот муж, которого вы насильно желаете быть женой, не наделал вам бед. В его руках много для этого способов. Он может вас по этапу к себе вытребовать — и не прибегая к такому резкому способу действия, просто не дать вам паспорта и выставить вас сидеть подле своей любовницы“. И в следующем письме от 17-го августа того же года, по старушечьи осуждая Сулову за ее бесцельные скитания по белу свету, за то, что все еще не успокоилась, но хочет и не может нигде основаться, Салтис снова возвращается к теме о Розанове: „Раздумайте, если желаете жить с мужем, покоритесь его нетерпимости и невестности — не можете, поселитесь с отцом и живите в его утешение“. Кто же из них прав, обвиняя друг друга в „неверностях“? Сулова или Розанов, себе на каждом шагу противоречащий, как в характеристике, которую он и дает ей в письмах к А. Г. Достоевской и к Волжскому так и в сообщаемых им фактах.